

Александр Фролов

Кармен во сне и наяву

Рассказ

Памяти И.М.Гомельского

1

В тот довольно прохладный октябрьский вечер 56-го года в кассовом фойе Большого театра было жарко: толпа меломанов, сгрудившаяся у окошка администратора, толкалась и шумела; то и дело слышались недовольное бурчание, взаимные препирания, а то и откровенная ругань на повышенных тонах. Еще бы! Давали «Кармен» — с молодой, только недавно принятой в труппу, но уже успевшей прославиться Ириной Архиповой в главной роли. Благоклонная критика, окрестившая певицу новой оперной звездой, и те счастливицы, которые успели побывать на спектакле, создали небывалый ажиотаж. Достать билеты простому смертному было невозможно, а у перекупщиков цены — заоблачные.

В самой администраторской было не менее жарко, чем в фойе. Распорядитель благ — дежурный администратор, невысокий плотный человек с большой проплешиной и грустными глазами — устало, но споро одаривал заветными билетами и контрамарками удостоенных граждан, устало препирался с жаждущими, но не удостоенными. Венчик кудрявых темных волос вокруг плечи был всклокочен; короткий галстук с толстым узлом съехал на бок. Вид у администратора был неподкупный и несчастный одновременно.

— А я вам говорю, гражданочка, что на вас не заказано, — внушал он дородной даме в габардиновом плаще и со слегка облысевшей чернобуркой на плечах.

— Как это не заказано, как это не заказано?.. — возмущалась дама. — Проверьте еще. На фамилию Ступак.

— Два раза уже проверил: нет никакого Ступака. Не задерживайте очередь! — как от назойливой мухи, отмахнулся администратор. На самом деле его жест относился вовсе и не к самой даме и не к осоловелой осенней мухе, мирно себе дремавшей в уголке стекла прямо перед носом администратора. Жест его означал только предложение к очереди — отгеснить надоевшую гражданку и дать ему продолжить свою работу.

— Безобразие! Я буду жаловаться!.. — кричала дама. — Я до самого Степана Кузьмича дойду!..

Стоявшие в очереди граждане, которым на неведомого Степана Кузьмича было плевать, не без удовольствия и злорадства восприняли намек и оттерли гневно

Фролов Александр Вадимович — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1952 году в Ленинграде. По образованию инженер-гидротехник. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

вопящую гражданку от окошка. Та развернулась и, вереща что-то нечленораздельное, потопала к выходу. Чернобурка в такт воплям хозяйки нервно вздрагивала на ее плечах.

Очередь постепенно редела. Уже прозвенел второй звонок, когда к окошку притиснулся скромно одетый мужчина неопределенного возраста с обшарпанным фанерным чемоданчиком в руке.

— Билет, — сказал он негромко и отчетливо. — Один. На любое место.

— На кого? — поинтересовался администратор.

— Ни на кого, — также негромко ответил мужчина. — На меня.

— Вы с ума сошли? — администратор почувствовал, что сейчас, вот именно сейчас, вскипит и нагрубит непонятливому гражданину. Он уже сделал глубокий вдох и собрался было разразиться гневной тирадой...

— Очень надо, — совсем уже тихо, но настойчиво, с нажимом сказал мужчина.

Администратор почему-то передумал вскипать. Его поразила интонация: человек в отличие от всех других не просил и не требовал. Он спокойно стоял перед окошком — невысокий, худой, не молодой и не старый, одетый не по сезону в тяжелое драповое пальто. И в его серых, как будто слегка выцветших глазах угадывалось глубокое внутреннее напряжение, словно какая-то потаенная и требующая воплощения идея, которую он старательно оберегал, не давала ему покоя. Взгляд, обращенный в себя... Администратор в последнее время уже встречал такой вот взгляд — у людей, пропадавших много лет невесть где и вдруг сваливавшихся невесть откуда. И еще чемоданчик... фанерный этот чемоданчик еще!..

Администратор наклонился над столиком, написал на листке «6 подъезд» и протянул листок мужчине. Тот мотнул головой налево, на что администратор отрицательно покачал головой и мотнул направо. Мужчина кивнул в подтверждение того, что понял, и исчез из поля зрения. «Конспираторы, мать твою...» — усмехнулся про себя администратор и, обернувшись к сотруднице, спросил:

— Клавочка, у нас «загнутые» остались?

— Только пара директорских и один дирижерский. Возьмете? — ответила Клавочка.

— Нет, оставь. Эти, как Евгений Онегин, — с поднятием занавеса, когда «ложи полны». А что по приставным?

Клавочка пошуршала бумажками:

— Одно в партере, два в ложах, ну и на ярусах за креслами — стоячие.

— Хорошо. Давай партер... Ряд?

Клавочка опять пошуршала бумажками, назвала ряд, администратор заполнил контрамарку и, кинув через плечо: «Я на пять минут. Подмени», — вышел из администраторской.

— Ну-с, — сказал администратор, открыв дверь подъезда и пропуская мужчину с чемоданчиком внутрь, — и с кем имею честь?..

— Исаак, — представился мужчина.

— А по батюшке?

— Исаак, — повторил мужчина.

— Ладно, — сказал администратор, — пусть так. Пропустите, Иван Матвеевич, — обратился он к вахтеру. Вахтер понимающе кивнул.

— Вот ваша контрамарка, Исаак: партер, восьмой ряд, приставное. Пальто повесьте вон там — на вешалке, — администратор указал на пристенную вешалку за спиной вахтера. — И чемоданчик... чемоданчик-то оставьте, — добавил он, когда Исаак разделся.

— Нет, — сказал Исаак. Он стоял, прижав чемоданчик к груди, и пристально смотрел на вахтера в синей униформе.

— Ну, милый мой, — развел руками администратор. — Вас же в зал не пустят.

— Нет, — твердо повторил Исаак, еще крепче прижав чемоданчик к груди.

— И что же мы будем делать? — администратор взъерошил свой и без того

вздыбленный венчик вокруг лысины. — Вы знаете... вы не волнуйтесь. Вот Иван Матвеевич проследит за сохранностью ваших вещей. Он для того тут и сидит.

— Не извольте сомневаться, — подал голос вахтер. — Вернем в лучшем виде.

— Нет-нет, лучше вы его возьмите к себе, — предложил Исаак администратору, вдруг улыбнувшись мягкой, какой-то детской улыбкой. — Я вам доверяю.

— Хм... Спасибо за доверие, — усмехнулся администратор. — Но я же должен проводить вас, иначе вы тут в наших лабиринтах заблудитесь. И как я с вашим чемоданом через весь театр пойду? Лишнее любопытство, лишние вопросы... Давайте сделаем так: ненадолго оставим его всё же здесь под присмотром Ивана Матвеевича. А с началом спектакля я заберу чемодан к себе в администраторскую. Идет?

— Ладно, — сказал Исаак. — Идет. Ненадолго.

На свое место при помощи служительницы Исаак попал, когда свет в зале уже стал затухать. Это не помешало ему внимательно оглядеть зал и проследить за тем, как медленно гаснет люстра, пока не погасла совсем при одновременном поднятии занавеса.

— Ну что, Клавочка, «загнутые» взяли? — спросил администратор свою помощницу, вернувшись на рабочее место и задвинув чемоданчик поглубже под стол.

— Да, все...

— И как давно?

— Недавно, с третьим звонком, — сказала Клавочка и хихикнула: — «Онегины» же!

Какое-то время администратор перебирал бумажки на столе, проверял всех ли «онегиных» он отметил в списках; закончив со списками, позвонил по внутреннему телефону главному администратору и доложил обстановку. После чего, глубоко задумавшись, уставился на задернутое шторкой окошко администраторской. Он не мог объяснить самому себе, как так случилось, что в нарушение всех своих годами выработанных правил и принципов он пошел навстречу этому человеку. Выразил понимание и опасное сочувствие? Пожалел?

«Чемоданчик... надо же — че-мо-дан-чик...» — прошептал он и понял, что непременно сейчас же должен выпить.

— Я в буфет, — сказал он, поднявшись из-за стола.

— Я и сама не прочь, — понимающе откликнулась Клавочка.

— Но-но! — администратор посмотрел на часы. — К антракту вернусь.

В буфете было пусто, если не считать Исаака, который сидел за ближайшим к стойке столиком спиной к двери. Перед ним стояли графинчик с коньяком, розетка с кружком лимона и лежала плитка шоколада; в ладони он грел бокал, из которого отпивал мелкими глотками.

«Так-так...» — подумал администратор. Не глядя на Исаака, он подошел к стойке:

— Плесни-ка, Нина.

— Не рановато? — поинтересовалась буфетчица.

— Самое время, — мрачно ответил администратор.

— Как обычно?..

Администратор молча кивнул, дождался, пока буфетчица нальет ему стошку коньяка; с бокалом, также грея его в ладони, подошел к столику Исаака, уселся напротив и вперил в того укоризненный и строгий, как ему казалось, взгляд. Исаак молча смотрел на него, улыбаясь слегка смущенной улыбкой.

— Ну и как это понимать? — спросил администратор, стараясь скрыть раздражение. — Я сделал вам место, отказав при этом хорошему человеку, — соврал он. — А вы сидите здесь и хлещете коньяк. Вы за этим сюда пришли?

Исаак пожал плечами, все так же улыбаясь.

— Что вы молчите? — не сдержав раздражения, почти выкрикнул администратор. — Почему вы не в зале?

Буфетчица с любопытством посмотрела на администратора, ожидая от него всплеска бурного негодования, чему не раз бывала свидетелем. Но ничего не случилось, и некоторое время администратор и его странный визави молча смотрели друг на друга, пока Исаак тихо и твердо не сказал:

- Не то.
- Что не то? — не понял администратор.
- Всё не то!

2

Зима сорок четвертого на Колыме выдалась лютой, возможно, самой лютой за время существования лагерей. Столбик термометра редко поднимался выше -40 — температура, при которой эсков не выводили на работы «по золоту» за пределы зоны. Зато наряжали на работы в зоне — пусть и полегче, но для истощенных обмороженных людей не менее утомительные. В марте стало еще хуже: морозы постоянно держались у отметки -50 и усугубленные ветром, дующим из-за сопки, делали жизнь эсков невыносимой. Нормы выработывались дай бог процентов на тридцать, пропорционально выработке сокращались и без того скудные пайки. Люди мёрли пачками; умерших похоронная бригада вывозила на тачках за колючку не слишком далеко от зоны, кайлом и ломом долбила смерзшуюся землю, сваливала трупы, как бревна, в неглубокие ямы и забрасывала их мерзлым грунтом и камнями вперемежку с кусками льда. Того, кто не успел умереть, отправляли в переполненный медицинский барак, где лагерные «лепилы» пытались без особого успеха поставить доходягу на ноги. Тех немногих, кому повезло, комиссовывали и освобождали от общих работ, а то и отправляли на другие — менее зверские — инвалидные командировки или даже в Магадан. Других — подлечив кое-как и дав отлежаться — возвращали обратно в бараки.

К середине марта Исаак начал доходить. Особенно худо стало после гибели его лагерного друга — Яши Лямина. Они познакомились в трюме «Джурмы», битком набитой осатаневшими, изнывающими от жажды эсками, накормленными по издевательской прихоти конвоя тухлой селедкой перед погрузкой на пароход. Оба были свидетелями страшной, свирепой драки каждого с каждым за глоток воды; оба умудрились не схватить дизентерию, лакая эту воду на уровне щиколоток, когда капитан приказал подать ее пожарным шлангом прямо в трюм. Оба на рейде в бухте Нагаева вытаскивали из провонявшего испражнениями и блевотиной трюма трупы не вынесших смертельного пути и сбрасывали их через борт в ледяную братскую могилу — Охотское море.

Случайно попав на одну командировку и даже в одну бригаду, пять лет они держались вместе. Вместе долбали кайлом мерзлую породу зимой и промывали ее летом; вместе защищали свои ледяные пожитки от лагерных «придурков» и блатных; вместе избежали страшных бессудных «гаранинских» расстрелов.

Они представляли собой странную пару: сухой, невысокий, легкий «малоежка», как он сам себя называл, Исаак — бывший специалист по химзащите Белорусского округа, и крупный, тяжелый Яша — бывший комсомольский работник из теплого Туапсе, призер соревнований по гиревому спорту. Они были неразлучны; может, потому и смогли продержаться все эти долгие пять лет и не загнуться.

И вот Яши не стало.

Где-то к концу февраля Исаак стал замечать, что с другом совсем плохо.

У них и раньше бывали периоды, когда казалось: всё — только и остается, что помереть. Но справлялись как-то, выкарабкивались, добивались до весны, а там и до лета — до работ на драге. Немного отогревались за короткое лето, набирались хоть каких-то сил, чтобы опять сойти в ад смертоносной колымской зимы.

Но теперь Яша доходил: по утрам он с трудом мог подняться с нар — его мотало

из стороны в сторону, и, пытаясь встать, он опять валился на нары. Стал заговариваться: бормотал что-то невнятное себе под нос и на расспросы Исаака не отвечал или нес бред, из которого невозможно было что-либо понять. На последней помывке, где энкам выдавали по шайке теплой воды и обмылок величиной с грецкий орех, Исаак заметил на теле Яши самые ужасные приметы пеллагры — красные пятна лопающихся, истонченных голодом и холодом капилляров. И еще — может быть, более страшное — полное безразличие к происходящему: лихорадочный голодный блеск в глазах, тоже один из признаков пеллагры, как-то притух и сменился совершенно безжизненным взглядом в пространство.

«Надо что-то делать», — решил Исаак. Поздним вечером, когда бригада добрела до барака и Яша рухнул на нары, Исаак поднял его, посадил и обнял за плечи, придерживая. А Яша сидел, раскачиваясь из стороны в сторону, и тупо смотрел на раскаленную железную бочку, заменявшую в бараке печь. «Яша, — сказал Исаак, — завтра в больничку пойдешь». Яша поднял глаза и вполне внятно спросил: «А зачем?» — «Помрешь ведь», — Исаак крепче обнял друга и прижал к себе. — «И так помру... — Яша посмотрел на Исаака неожиданно осмысленным и сосредоточенным взглядом человека, всё для себя решившего: — Быстрая смерть лучше долгого умирания...» Исаак покачал головой и не нашелся что ответить.

С побудкой Яша встал, натянул бушлат и обувку, даже ополоснул лицо холодной водой из чана у двери. Движения его были на удивление четкими, как у человека, собирающегося выполнять какую-то серьезную и важную работу. «Может, оклемается», — с надеждой подумал Исаак...

В этот день энкам повезло: к вечеру температура упала до -52, подул северо-восточный ветер, такой свирепый, что сдувал ледяную крошку с наста, и она, как шрапнель, секла лица обессиленных людей. Конвою тоже было несладко; связались с начальством, и оно дало команду прекратить работы, благоразумно решив, что работать дальше в этих условиях невозможно, а убыль контингента и так зашкаливает. Повезло энкам!.. Вот уж повезло: вместо 12—14 часов они отработали всего-то 9 с лишком. Ах, если бы еще каким-то чудом их тут же перенесло в бараки и не надо было преодолевать почти пять километров по этому лютому, прожигающему до костей морозу...

Вертухай построили не слишком стройную колонну, и она молча, как в рапидной съемке, двинулась навстречу начинающейся пурге...

Исаак шел крайним в шеренге по пять. Он специально выбрал это место, потому что Яше совсем поплохело: он еле передвигал ноги и постоянно заваливался то на Исаака, то на шедшего по другую руку Яниса — немолодого молчаливого латыша — третьего соседа Исаака по нарам. Так они и поддерживали Яшу с двух сторон, почти неся его на своих плечах. И донесли...

Узаконенный ритуал прохождения в зону требовал остановки у лагерных ворот, и, не доходя пары десятков метров до них, колонна остановилась. Над воротами, раза в два перекрывая их ширину, на высоте метров пяти висел громадный транспарант. Он был закреплен на листах фанеры, прибитых к четырем столбам, усиленным подкосами — по два с каждой стороны. После казармы охраны, домов начальства и конторы, в которой трудились «вольняшки», это было, наверно, самое капитальное сооружение на зоне. Пара прожекторов, вынесенных наружу, ярко освещала искрящийся от изморози транспарант. Смотреть на него после темени долгой дороги было невыносимо. Буквы почти не читались... Да и кто бы стал читать их, кто же не знал наизусть крылатой фразы «вождя всех народов»?¹

Яша вдруг запрокинул голову, уставился на транспарант и забормотал: «Чести... надо же... ипать-колотить... славы... — он засмеялся судорожным, лающим со всхлипами смехом. — ...доблести... доблести... твою мать...» И так — бормоча и смеясь — снял

¹ «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства». *И.В.Сталин*

варежку, вынул что-то из кармана бушлата, сунул это что-то в руку Исаака и... вдруг резко нырнул тому за спину, толкнул его вперед, а сам вывалился из шеренги и бросился бежать.

«Яша! Господи, куда!..» — только и успел крикнуть Исаак. А Яша, с прытью, непостижимой для дошедшего уже до края доходяги, каким-то образом перевалил через придорожный сугроб и уже бежал по целине вдоль колючки, продолжая смеяться и кричать что-то совсем неразличимое. Он бежал, нелепо взмахивая руками, то скользя по твердому насту, то протаптывая его и проваливаясь в более мягкий снежный испод. Падая, поднимался, преодолевая несколько метров на четвереньках, опять бежал. Исаак как замороженный смотрел на этот гибельный бег. «Быстрая смерть... быстрая смерть...» — крутилось в голове, а сердце... сердце, казалось, остановилось.

Вертухаи, не ожидавшие такого рывка от полутрупа на виду у всего лагеря, тоже на какое-то время оцепенели, пока один из них, скинув с плеча карабин и крича: «Стоять! Стоять, падло!.. Стреляю!» — не бросился за Яшей. Второй спустил собаку, и та с гулким лаем умчалась вслед за вертухаем. Другие псы вторили ей и рвались с поводков. Вертухаи матерились. Ээки молчали. А Яша бежал. Бежал в смерть — в свободу от постоянного голода и холода, от постоянной каторжной работы, от постоянного унижения и страха.

Исаак отвернулся. Он понимал, чем всё кончится, и не мог, не хотел смотреть на это. Раздался выстрел... чуть погодя второй...

И Яши не стало.

На плацу после проверки ээков еще помуржили на ледяном ветру, пока на крыльцо не вышел поддатый «кум». Широко расставив кривые ноги в синих галифе и заложив руки за спину, он мутным взором оглядел строй и зычно прокричал: «Ну что, мудозвоны!.. Всё видели? Кто, мля, косить будет — туда же пойдет...» — он мотнул в сторону лагерных ворот, презрительно ухмыльнулся и ушел в дом.

Придя в барак, Исаак, не раздеваясь, опустился на нары и как будто окаменел. Как сквозь вату, услышал он голос Яниса: «Поплачь, Исаак, легче будет. Плачь!..» Исаак с недоумением посмотрел на соседа; он не помнил, когда последний раз плакал. Он просто забыл, как это делается.

Он сидел, уставившись в одну точку, сжимая в руке тряпицу с посмертным даром своего друга, и ничего не чувствовал, кроме глухого отчаяния, которое невозможно было выразить ни словами, ни каким другим душевным откликом. Сколько Исаак так сидел? Уже и свет в бараке погасили, и ээки забылись тяжелым беспокойным сном, когда он наконец разжал кулак и осторожно развернул тряпицу. Слабый, дрожащий лучик дежурной лампочки осветил полдюжины черных окаменевших, размером с ноготь сухариков. Исаак положил один из них в рот и стал медленно сосать. И когда проглотил со слюной последнюю крошку, как-то жалобно всхлипнул и... нет — не заплакал — застонал сквозь стиснутые зубы, как от мучительной непрекращающейся боли. Так и сидел, и стонал, пока кто-то из соседей не ткнул его в плечо, прошепав: «Хорош выть! Дай спать».

Следующие несколько дней морозы не унимались и ээков не выводили за зону. И хотя работы в зоне, большей частью бессмысленные, были легче и рабочий день короче, Исаак стал слабеть. Доставшиеся ему в наследство сухарики он съел сразу — на следующий же день после Яшиной гибели. Но чем они могли ему помочь? Как поддержать, когда пеллагра не давала и самого малого чувства утоления голода. Все те симптомы, что он наблюдал у Яши, обнаружили и у него: и лихорадочный блеск в глазах вечно голодного человека, и головокружение, и красные пятна лопнувших сосудов, и апатия — полное нежелание хоть как-то, хоть чем-то взбодрить себя. А когда опять продолжились работы в забое, Исаак понял, что это начало конца. «Быстрая смерть... быстрая смерть...» — мелькало в голове. Но так, как Яша?.. нет, он не хотел так, боясь, возможно, последней боли. Лучше уж тихо загнуться.

Через два дня после возобновления общих работ, вернувшись к ночи в барак, Исаак рухнул на нары... «Ну вот и всё ...» — подумал он. Странное умиротворение овладело им. Знание о близком конце не пугало, а успокаивало, и какая-то слабая блаженная улыбка обозначилась на его лице. Улыбка эта испугала Яниса, он наклонился над Исааком и положил руку ему на лоб, как будто хотел проверить температуру. Лоб был холодный.

«Исаак, Исаак...» — позвал Янис. Исаак открыл глаза и как-то спокойно и даже рассудительно сказал: «Помру сегодня...» — «Что ты, что ты?.. Нельзя так... — заволновался обычно невозмутимый Янис. — В больничку, в больничку давай завтра... Я скажу “бугру”... Подлечат... давай... в больничку...» За все время их соседства по нарам Исаак не слышал от молчаливого Яниса так много слов подряд. Он усмехнулся, покачал головой и тихо, но отчетливо распорядился: «Шмотки мои прибереи...» После чего закрыл глаза и на попытки Яниса растормошить его никак не откликнулся. На жизнь сил не оставалось, а на смерть они были не нужны. Атрофия воли почти полностью притушила в нем желание выжить. И только в уголке замутненного сознания тлеяла какая-то слабая, никак не могущая оформиться мысль... И не мысль даже, а невнятные, не связанные между собой слова и странные, похожие на когда-то слышанные музыкальные звуки. И почти бессознательно внимая этим звукам, Исаак провалился в тягучий муторный сон.

Он, наверное, к утру бы и умер. Но в середине ночи с ним случилось то, что за время его колымских мытарств случалось считанные разы: он вдруг увидел сон. Это был не тот лагерный сон, в котором события предыдущего дня в жуткой фантазмагории мешались с воображаемыми, но вполне возможными ужасами дня будущего — невыносимыми унижениями, издевательствами и угрозами — кошмар, от которого сердце, казалось, разорвется, не вынеся страха и беспомощности, и единственным средством спастись от которого было — заставить себя немедленно проснуться, сбросить это наваждение.

Нет, это был другой, совсем особенный, ни на что не похожий сон.

Исааку снилось, что он в Большом театре Союза ССР слушает «Кармен».

3

Исаак никогда не был в Большом театре и никогда ни в каком театре не слушал «Кармен». Только по радио, и то не целиком. Но во сне он сидел именно в Большом театре и слушал именно «Кармен». Сон был цветной, неправдоподобно яркий и казался объемным, точнее — стереоскопическим: один план вырисовывался за другим, и каждый последующий становился всё более бледным фоном для предыдущего. Исаак однажды наблюдал такой эффект — в Минском парке. Бывает ранней осенью какое-то особое неяркое освещение, когда пейзаж настолько четок, что каждый план, не теряя объем, как будто отделен от следующего невидимой прозрачной завесой, и вся картинка напоминает сцену с выставленными декорациями.

Исаак сидел в партере в новенькой ладно пригнанной офицерской форме. Его окружали празднично одетые по довоенной моде люди: женщины в легких шифоновых или в тяжелых панбархатных платьях сверкали бижутерией и драгоценностями; мужчины в строгих костюмах и белоснежных рубашках, а кое-где и во фраках с манишками и жемчужными булавками в галстуках. Исаак не видел их четко: всё это слегка опереточное великолепие сливалось в один огромный цветочный ковер. Но странным образом эта слитная размытая картина также делилась на отдельные стереоскопические планы. И каждый был залит мягким светом, постепенно тускнеющим с удалением перспективы.

Исаак поднял глаза: ярусы с красными бархатными бордюрами барьеров казались бесконечными: выстраиваясь один над другим, они уходили куда-то в поднебесье и там терялись. И оттуда — прямо из небесной голубизны — спускалась

громадная люстра. Её хрустальные подвески, преломляя свет сотен ламп, сияли, переливались всеми цветами радуги, испускали острые лучики, вспыхивающие и моментально гаснущие. Вместе с мерцающими огоньками трехрожковых бра, висящих в простенках ярусов, вся эта партитура света превращала театральный зал в какие-то волшебные чертоги, в которых было возможно любое чудо.

С первыми тактами увертюры люстра стала медленно гаснуть одновременно с таким же медленным поднятием парчового занавеса с гербом Советского Союза.

И началось действие. Исаак не знал точный его порядок, не различал слов и музыку помнил смутно — фрагментами. Один знакомый музыкальный фрагмент оперы повторялся несколько раз и сменялся другим без всякой сюжетной последовательности, чтобы, повторившись, в свою очередь смениться следующим... И так продолжалось и продолжалось. Но это была «Кармен». Исаак знал: это была «Кармен»! И музыка звучала так, как он никогда в жизни не слышал. Казалось, что играет не один оркестр в оркестровой яме, а множество, непонятно где располагавшихся. И слышались Исааку совсем необычные звуки, словно издавали их небывалые, неизвестные людям инструменты. И музыка шла откуда-то сверху — с того поднебесья, в которое уходили ярусы, и откуда-то сбоку, и со всех сторон, заполняя собой целиком сцену и зал, и весь божий мир. А голоса... Голоса!.. Как будто серебряные колокольчики дополняли отзвучкой и усиливали каждую взятую ноту.

Всё, что Исаак видел и слышал, было так невыносимо прекрасно, что он заплакал.

Исаак проснулся посреди ночи в слезах и услышал взволнованный голос Яниса, разбуженного его плачем: «Ты что, ты что, Исаак?..» — «Счастье...» — прошептал Исаак. — «Что?.. Что?..» — недоумевая, переспросил Янис. — «Счастье... счастье...» — Исаак отер мокрое от слез лицо ладонью, закрыл глаза и снова заснул. И сон продолжился, как будто и не прерывался, — чудесный, фантастический сон.

Этой ночью Исаак не умер. Поутру он поднялся, оделся, выхлебал дежурную кружку отвара стланика и со всеми поплелся на развод. Слава богу, в этот день работы были в зоне. Нет, ему не стало лучше; его так же мотало из стороны в сторону, так же не отпускало чувство неутолимого голода, он так же отчаянно мерз... Но как будто какая-то пружинка в его организме встала на место и какая-то малая шестеренка, сцепившись с такой же малой шестеренкой, запустила слабый-слабый, почти уже вышедший из строя механизм воли, направленной только на одно: добраться до барака, упасть на нары, заснуть и опять увидеть тот счастливый сон. И он вернулся вечером в барак, и упал на нары, и заснул. И ему приснился тот же сон: Большой театр, «Кармен»... И все было как предыдущей ночью. И он опять проснулся в слезах, и опять в ответ на испуганный и недоуменный вопрос Яниса шептал: «Счастье... счастье...».

Так продолжалось неделю, и каждую ночь Исаак видел этот — один и тот же — сон. И неведомая пружинка сжималась и разжималась, и шестеренки, сцепившись, еле-еле со скрипом вращались и подталкивали маятник... И он не умер.

В ночь после редкого выходного дня сон ушел. Но хотя Исаак был все так же слаб, обрывочные воспоминания о сне понемногу рассеивали туман апатии и не давали задуть слабый огонек жизни. А вскоре Исаака все же определили в больничный барак; через три недели освободили от общих работ и через некоторое время переправили на инвалидную командировку.

И уже был май, и можно было жить.

4

Какое-то время они сидели молча. Исаак, казалось, ушел в себя и никак не мог отрешиться от нахлынувших воспоминаний. А дежурный администратор, переваривая услышанное, ощутил вдруг такой приступ глухой тоски, что в висках застучали маленькие злые молоточки боли. Сделав большой глоток коньяка, он слегка пришел в себя и наконец нарушил молчание.

— Поразительно, — сказал он. — Трудно поверить.

Исаак ответил не сразу. Он сидел, опустив глаза, словно спрашивал себя самого: а было ли всё это с ним на самом деле? Потом решительно встряхнул головой и твердо и даже как-то весело сказал: — Всё так!

— Да... да... конечно... все так... — администратор смутился, потер висок и посмотрел на Исаака. — Понимаю. И вы... вы теперь разочарованы, да?

— Ну что вы, что вы, нет. Это не разочарование. — Исаак задумался и пощелкал пальцами, подбирая нужные слова. — Это... это — очарование, вот что. Очарование сна, который меня спас. Оно было настолько сильнее того, что я увидел сейчас, сидя в зале, и что меня бы не спасло. Понимаете?

Администратор кивнул головой.

— А так — всё на месте, — продолжил Исаак. — И зал великолепен, и музыка чудная, и поют замечательно. Но...

— Не то! — заключил администратор.

— Не то, — Исаак вдруг громко рассмеялся, показав ряд крепких белоснежных, без червоточинки зубов.

— Выпьем? — предложил администратор, поднимая бокал с остатками коньяка.

— Не вижу причин не выпить, — улыбнулся Исаак, вспомнив чье-то забавное выражение, услышанное им когда-то давно — еще в первой его жизни.

— За что?

— Каждый за свое. Молча.

— Хорошо. Каждый за свое.

Они молча выпили.

— И почему это коньяк обязательно надо закусывать лимоном? — Исаак поморщился, дожидая то, что осталось от ломтика лимона.

— Не знаю... Так принято. Может, потому что плохой коньяк пахнет клопами. А как этот, кстати?

Клопы! Исаак хорошо помнил, как полчища этих мелких тварей изводили эков в транзитной тюрьме под Находкой — до кровавой почесухи. Но рассказывать не стал: и так уже воспоминаний было с избытком.

— Я, вообще-то, мало что в коньяке смыслю, — ответил он. — И молодым-то не шибко увлекался, а уж восемнадцать лет сухого закона совсем отучили. Сегодня... это так — особый случай.

— То есть добавить — не?... — администратор вопросительно посмотрел на Исаака.

— Нет уж, спасибо, увольте.

— Ладно, и я тогда не буду, — не слишком решительно сказал администратор и после легкой заминки добавил с какой-то просительной, несвойственной ему интонацией. — Знаете, Исаак, а вы приходите на другие спектакли. Правда, приходите. У нас чудесные спектакли.

— Благодарю. Но у меня через два часа поезд.

— Далеко едете?

— Не очень. В Ленинград — к сестре. Надо устраиваться жить. Так что в Москве вряд ли скоро окажусь, — с этими словами Исаак поднялся, аккуратно завернул недоеденную плитку шоколада в салфетку и положил её в карман пиджака. — Пойду я.

Администратор посмотрел на часы и присвистнул:

— Ого! Антракт скоро. Если вы не остаетесь, то, правда, надо двигать.

Исаак отрицательно помотал головой.

— Хорошо, тогда пойдемте. Оденетесь и ждите меня там же у подъезда, пока я хожу за вашим чемоданчиком.

Администратор вышел из подъезда и не увидел Исаака. Он прошел вдоль фасада, завернул за угол: Исаак стоял у крайней колонны портика и с детским любопытством

смотрел на фонтан, струи которого пенились и сверкали в свете уже зажженных фонарей.

Администратор собрался было упрекнуть Исаака за то, что тот не дождался его в условленном месте, но почему-то расхотел это делать.

— Скоро отключат, — сказал он, подойдя и мотнув головой в сторону фонтана. — Осень...

— Да, осень... — Исаак посмотрел на администратора, и того поразила глубокая печаль в его взгляде.

— Вот ваш чемоданчик, — сказал он.

Исаак взял из рук администратора чемоданчик, придирчиво осмотрел его и протянул руку:

— Доставил я вам хлопот. Что ж, спасибо за все.

— Да ладно, тоже мне хлопоты, — администратор пожал протянутую руку. Та была теплой, сухой и неожиданно очень крепкой.

Исаак уже начал спускаться по лестнице, когда администратор, как будто что-то вспомнив, окликнул его:

— Пойдите, Исаак, пойдите!

Исаак обернулся.

— Извините, ради бога. Можно нескромный вопрос? — администратор в смущении потёр лоб ладонью.

— Валяйте, — спокойно разрешил Исаак.

— Зубы... вот что. Как вы их там сохранили? Я слышал, что там... — администратор смутился окончательно и не закончил фразы.

— Чего ж тут нескромного, — усмехнулся Исаак. — Всё просто. Я военный человек, привык к дисциплине. Если сказано пить от цинги дважды в день по кружке отвара стланика, значит, буду пить. Гадость жуткая. Но все восемнадцать лет каждый день я пил эту гадость — кружка утром, кружка вечером. Ну и ещё... может, порода такая: в нашем роду и старики со всеми своими зубами помирали. Знаете, и лагерные лепилы удивлялись, говорили, что таких случаев на всю Колыму за все время — по пальцам одной руки сосчитать.

— Ладно. Будьте здоровы, — Исаак развернулся, помахал приветственно рукой, спустился по лестнице и пошел упругой четкой походкой: невысокий, легкий, с прямой осанкой военного.

Администратор стоял у колонны и смотрел Исааку вслед, пока тот не скрылся за спинами гуляющих. Потом взглянул на часы, охнул и потрусил в администраторскую. Там сел за свой стол, обхватил голову руками и уставился на ту же полудохлую муху в уголке окошка. На душе было тоскливо. «Надо было все же еще стошку принять», — подумал он.

От автора

Исаак Михайлович Гомельский, рассказавший мне эту историю, умер в преклонном возрасте от пиелонефрита — побочного эффекта, вызванного многолетним употреблением отвара стланика. До конца жизни он сохранил все свои белоснежные крепкие зубы без единой червоточины.